

— У вас нет ощущения, что в вашей жизни все пришло слишком поздно? Книга, задержанная издательством на семнадцать лет, два небольших сборника в течение двенадцати последующих лет, еще годы спустя — премия. “Кто был для одного слова рожден”, тому, может быть, и не странно развешаться “ветром и пеллом”. И все же?

— “Так много потеряно, что и не жаль ничего”, — написал я. Долгое время меня как бы и не было, хотя я очень хотел быть. А теперь, вы правы, конечно, когда ушли все поэды, когда можно бы и успокоиться, не суетиться, не знаю. После драки кулаками не машут. Поздно что-либо доказывать, можно только досказать. Впрочем, я никогда и не пытался идти в ногу со всеми. Не хочу и теперь. Энергия опережения — вот что движет литературу. Единственное, что хотелось бы, так это написать книжку внутреннего, для себя.

— Видимо, это ощущение возникло не сегодня. Знаю, что вы не очень-то довольны своими сборниками, в том числе и последним (1989 г.), “Ветром и пеллом”, книгой, на мой взгляд, цельной и значительной.

— Я не то чтобы недоволен. У меня просто нет к ней чувственного отношения. Я допускаю, что это, может быть, самая цельная моя книга, но она и самая не моя. Потому что был бы, что за эти десятилетия я сам стал другим.

— А какая самая ваша?

— Трудно сказать. Когда начал писать, я был посадским человеком, мне хотелось запечатлеть пластику жизни, самодостаточной в своих проявлениях, где есть все и достоинство, и традиция. Потом, с чтением философии, литературы, с новым опытом, мировоззрение мое пошатнулось, во многом я разочаровался и захотелось обрести какой-то идеал... А в общем, мой книги нет, все они складывались как-то само собой: в писаниях — стихийно, в изданиях — случайно.

— Сегодня вы можете себе позволить роскошь философского взгляда на ваше прошлое. А каково было вам, тогда дебютанту, так влипнуть из-за “Повествования о Курбском”? Вас ведь обвинили ни много ни мало в апологии владовцев. Как бы вы сегодня объяснили молодым читателям, из-за чего, собственно, разорелся сыр-бор, почему вам перекрыли кислород почти на два десятилетия?

— А что объяснять? Самое бессмысленное занятие — пытаться разгадать логику сумасшедших. Почему не печатали, что пугало? Да просто чули запах чужака. Мы ведь жили среди стаи. Им было удобно сделать меня певцом измены — для острастки другим. И началась активная кампания. Историк Г.Новицкий опубликовал в “ЛП” статью о моем Курбском — изменнике родины. Сочувствующие мне сотрудники еще как-то смягчили удар, готовились и выходили статьи и в других органах, “Молодая гвардия”, например, года полтора носила меня в каждом номере. Были письма и в мою записку, историка А.Зимина, например, или Ильи Сельвинского, но они в печати не появились. Кому это понравится?

Чуть позже встретил меня Шаламов и говорит: “Вам повезло. В мое время вас бы сперва расстреляли, а через неделю дали статью, мол, гражданин Чухонцев ошибается”. Так что мне действительно повезло.

Вам, на мой взгляд, повезло и в другом. Из реального персонажа вы стали самым властным персонажем в миф. Все знают: живет в Москве гениальный поэт, которого эти гады боялись печатать. У вас был выбор: либо так и остаться легендарным, либо выпустить сборник много лет спустя, да еще и изрезанный цензурой, то есть как бы даже и не ваш. Вы выбрали второе. Почему?

— Если человек осознает себя литератором, а можно быть великим поэтом и не осознавать себя литератором, то печатание все-таки во благо. Сразу происходит отчуждение от текста, освобождение от него.

— А вам нужно было такое освобождение?

— Тогда было нужно. И потом, как ни странно, стараниями редакторов — мне многие позже говорили об этом — книжка стала обладать чистым звуком, все не присущие поэзии потовые выделения были убраны, резкости сняты. И оказалось, что поэзия тот червь, которого как ни режь — все равно червь, все равно живой. Правда, много лет спустя, когда мне попались на глаза первоначальные варианты, я схватился за голову. Так что, строго говоря, если бы у меня были материальные возможности переиздать все в лучшем виде, я не знаю, что бы я предпочел. Но это сказка про белого бычка. Помните историю с “Медным всадником”? А бесчисленные варианты, двойчатки, тройчатки, у позднего Мандельштама? Занятно другое: как только я собрал первый сборник, сразу как переродился — мне совершенно не захотелось уже в этом реализовываться. Может, у меня была бы другая судьба, если бы я издал эту книгу раньше. Я ведь первый сборник собрал еще в 1960 году, назывался он “Замысел”. Сейчас, однако, это все неважно. У меня сейчас иное ощущение собственной жизни, в конце концов я всегда был везучим, писал, что хотел, а переводил для денег.

— Только при этом сознавали, цитирую вас, что платили вам не за собственную осуществленность, а за отказ от возможностей. Вы это называете везением?

— Ну, это сложные материи. Я ведь говорю только о том, что худо-бедно, но я мог работать, не делая подлости. Если же рассуждать объективно, по большому счету, то, наверно, я классический неудачник. Тут может быть только одна поправка: в истории литературы многие авторы с именами были объективно неудачниками.

— Из тех, кто опередил свое время?

— Возможно, и так. Ну, хотя бы великий Пучеч. Или тот же Анненский. Или Случевский. Речь идет, по сути, о несоответствии твоего генотипа и того, что ты должен был сказать, с временем. Я немогу переводил, перевел около сорока или пятидесяти тысяч строк, когда ненавидел эту работу. Мне же хотелось писать свое. А художник, не зафиксировавший себя в какие-то важные этапы, становится неудачником. Его начинают раздирать неуспеваемость. Она мешает так же, как мешает холестерин, накопившийся в крови. Хотя есть много людей культуры, которым не даны такие ощущения. У них другое качество дарования.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, для одних поэтов заниматься, например, поэтическим переводом — разогреть мотор, для других — есть собственный мозг. Важно самоощущение. Можно ведь и детей делать из повинности. Или вытеснение поэзии филологией, когда могут делаться известные открытия

как бы в четвертом прочтении, а таких стихов сейчас тьма. Поневоле вспомнишь Блока, что в обилии стихов есть что-то ужасное. Но, с другой стороны, еще Жюль Ренар заметил, что гений — это в конце концов вопрос количества. Но то гений. Хотя и с обычной точки зрения ценнее поток, намыв, а не отдельные жемчужины. Но это к слову. Во всяком случае, для меня стихи — товар шутливый, и называние слов посредством бормотания — не мой метод. Я люблю больше слушать, точнее — вслушиваться. Стихи, которые я люблю, помню наизусть, они часть меня самого: “Не говори никому/ То, что ты знаешь, забудь/ Птицу, старуху, тюрьму/ Или еще что-нибудь...” Теперь я с легкостью рассуждаю на подобные темы, все больше люблю чужое и не только стихи.

— Но для вас и прежде, полагаю, существовали другие ценности. Скажем, патриархальные. Среди них, судя по стихам, на первом месте родители. До сих пор помню, какое впечатление произвело на меня стихотворение “И дверь вьотмахиваешь привычную толкуну”. Мотив потусторонней встречи с мертвым отцом и матерью сразил меня прямо-таки дантовской мощью.

— О стихах не скажу, но родители и вправду многое значили в моей жизни. У меня есть некий комплекс вины перед ними. Все еще мучает ощущение, что я не смог их защитить. Мне казалось, я плохой сын, невнимательный и эгоистичный, хотя старался каждую неделю их навещать. А

— О стихах не скажу, но родители и вправду многое значили в моей жизни. У меня есть некий комплекс вины перед ними. Все еще мучает ощущение, что я не смог их защитить. Мне казалось, я плохой сын, невнимательный и эгоистичный, хотя старался каждую неделю их навещать. А

ЧИСТЫЙ
звук

С поэтом Олегом ЧУХОНЦЕВЫМ
беседует обозреватель “ЛП”
СТАРОШИНА

вообще я отличаю писателей, у которых было хорошее детство, от тех, кто родился в бараке с ощущением безотцовщины, волчьего вгрызания в жизнь, вечной борьбы. Это сразу прочитывается и в стихах, и в прозе и для меня просто невыносимо.

— Вы ориентируетесь на текст или на биографию писателя?

— Только на текст. Эти авторы, боясь — эстетичности, хотят выглядеть сложнее и, если хотите, успешнее, чем они есть. А все способы замены в конце концов — колбаса с наполнителем.

— К ценностям, которые вы исповедуете, относитесь, видимо, и ваша родина, Павловский Посад. Вы сами говорили о том, что вам не повезло с временем рождения — 8 марта 1938 года, что повезло с местом. Читая ваши стихи, понимаешь: вы так и не стали москвичом, хотя прожили здесь сорок лет. “Этот город деревянный на реке” близко от Москвы, но уже — другая планета. Не здесь ли, разумеется, в том числе, истоки вашей раздвоенности (“взлачусь, разъятый поползном”), неудовлетворенности, надрыда?

— Я действительно, как это ни странно, не считаю себя москвичом. Мне вообще всегда нравились больше питерская строгость, идущая от Ходасевича и Кузмина. И того же Блока. Вот опять на литературу потянуло... Павловский Посад — для меня это, собственно, идея первичного открытия материала, а не пресловутая малая родина. Жил бы я в другом месте, было бы то же самое. Родившись на конном дворе, я с детства ездил верхом. А это ни с чем не сравнимое наслаждение. В Посаде вообще жизнь такая, как будто нет веков. То, что посадил, то тебя и кормит. Каждый каждого знает. Патриархален даже не город — мир. И только много позже я осознал, что не могу быть другим, родившись в этом мире. Я воспитывался в строгих традициях, и попадались годы, чтобы полюбить что-то другое, например, авангард. А что до петропавловского мира, я ведь знаю, что того Павловского Посада давным-давно нет. Как-то Булата Окуджаву уговорили выступить в местном заводском клубе, и потом он мне сказал: ты мистификатор, более грязного города я в жизни не видел... Конечно, в Посаде все пришло в упадок. Если деревянную архитектуру не поддерживать, то она очень недолговечна — сродни красивой женщине в крестьянстве, которая рано гаснет.

— Что же до раздвоенности, то она как раз относится к московской жизни. Я написал об этом и в поэме “Однофамильцев”. Вот выходит человек в город, надевает цивильные одежды, идет в присутствие. Никто не требует, чтобы он открывал свою душу, это даже плохой тон. Идет человек не сущностный, индивидуальный, а идет функциональный человек. Я тоже старался выполнять свою функцию честно, но побыстрее. И такое раздвоение мне действительно давалось с трудом. Я не был диссидентом. Меня смущала их сектантская этика и дисциплина. Просто я хотел жить по своим часам.

— Вы другой. Ст.Рассадин именно так — и, на мой взгляд, весьма точно — назвал статью о вас. Вы обретались не только в подполье идеологическом, но и в подполье собственной индивидуальности, которой тесно в самой себе. Если гипотеза верна, то как вам живется в двойном подполье?

— Не знаю. Живому человеку трудно так уж дистанцироваться от самого себя. Тем не менее попробую объяснить. Я сейчас смотрю на себя как в третьем лице. Чужовицу, но факт. Это то, о чем говорил Бердяев, о двойственном самосознании художника: вроде ты есть — и вроде тебя нет. Ситуация “другой, другой среди других”, то есть идея “белой вороны”, или, по Набокову, “выпавшая” долго меня занимала. И вот почему. Приходит человек, вроде он ничего особенного не говорит, он хочет понравиться, даже анекдоты рассказывает — и все равно знает: чужак. Ощущение чуждости, наверно,

есть у любого человека, осознавшего пределы собственного суверенитета. Равно и двойственности бытия. Однако, быть может, вам покажется парадоксом, но это и есть художественная цельность. Да, именно такое чувство сообщает мне, как вы выразились, двойное подполье. Размышления мои запутанны и сложны, но мысль станет яснее, если переведу ее на бытовой уровень. Вы никогда не задумывались над тем, почему у одних творческих людей на столе царит идеальный порядок, а другие могут работать только в состоянии хаоса? Так вот, первое — показатель стихийности, сложности своего внутреннего хозяйства, которое ты хотел бы хотя бы внешне упростить; второе — свидетельство либо примитивности натуры, либо наличия абсолютно зловрой психики, которая не нуждается во внешнем обуздании.

— Раз уж мы углубились в бездны познания, то позвольте такой вопрос. Почти по всем стихам, связанных с памятью, у вас возникает образ лифта. Лифт — путь вверх, выход из мрака, освобождение. От кого или чего вы хотите освободиться?

— Я не из перечитывающих свои стихи. Лифт? Никогда не замечал. А то, что не замечашь, присуще тебе, видимо, изначально. Я подумал над вашим наблюдением...

— Вот мы с вами рассуждаем о двойном подполье, вы утверждаете, что вас и сегодня как бы нет, а тем не менее в 1993-м году вы стали лауреатом Государственной премии России. Какова была первая мысль, когда об этом узнали?

— Я подумал: и до меня дошла очередь, столько лауреатов вокруг, а я вроде бы и не охваченный. И еще подумал, если серьезно: где я дал слабину... Я всегда говорил, что есть два рода литературных награда... На мой

взгляд, почетнее получить медаль за храбрость, чем орден за выслугу лет. Эти ощущения связаны во многом и с историей моих книг, а к их всего три. Первая шла до меня, с огромным трудом, вторая вообрала в себя стихи, которые мне не разрешили печатать в первой; и третью попало то, что я сам боялся давать и в первую, и во вторую плюс немного новых работ. Получилось так: чем позднее книга, тем раньше стихи. Отсюда и невеселая радость. Я сам ощутил некоторую деградацию, мысленно сравнивая себя с участником войны, которому вручили боевую награду через пятьдесят лет, при этом говорили: а знаете, вы в списках тогда были, просто вас вычеркнули, но вы были... Хорошо, конечно, что дали, но мне такая награда уже и не очень нужна.

— А когда была нужна?

— Я думаю, до тридцати пяти лет. В этом возрасте любой пишущий хочет взять призыв, хочет печататься.

— А что, и печататься сейчас не хочется?

— Нет, не хочется.

— Ну, а писать?

— Писать хочется, но мне нужно обновить жанр, точнее, самочувствие стиха. Мое прежнее меня не выражает, поэтому я, честно говоря, и пребываю в затнученном простом. Есть люди, которые могут повторяться. Я не могу. Есть поэты, которые могут делать дубли удачи, мне же это кажется бессмысленным. Поэтому жанр молчания для меня сейчас более приемлем, если он, разумеется, наполнен.

— Полагаю, вы говорили об этом “Наполнении”, несли ваша работа в “Новом мире”. Заведовать отделом поэзии — дело хлопотное и не очень-то благодарное: находки случаются все реже, и это вполне естественно. Не обидно разменивать жанр молчания на чужие стихи?

— Если бы не обидно! Заведовать отделом поэзии — все равно что заведовать ветром. Но дело не в этом. Когда я вдруг осознал, что река действительно не прибывает, а убывает, а счетчик цпеклает все быстрее, появилось тревожное чувство: у меня все меньше укрытий. Я ведь запечный сверчок, а в последние годы оказался на довольно людном месте. Но жизнь одна; если ты занимаешься другими судьбами, то уж до себя и не докопаешься, одна невротика. А главное — очень не хочется быть таким деловым литератором, в которых многие превратились. Сейчас ведь золотое время для чтеца. Это к разговору о том, чем наполнено мое молчание.

— Вот вы открещиваетесь от деловых литераторов, но сами, по своему статусу, что ли: лауреат Государственной премии России, член жюри уважаемой Пушкинской премии, член редколлегии влиятельного журнала — как бы примыкаете к ним. Поясню свою мысль. Сейчас формируется нечто вроде литературного истеблишмента. И если раньше все было ясно, в тени назначали старшие товарищи, то теперь качество литературы определяют всевозможные премии, престижные посты, заграничные поездки. Вы не ощущаете своей принадлежности к новой элите?

— Да никаким боком! Мне кажется, вы расширяете трактовку понятие литературного престижа. Такие вещи в известной степени определяются субъективным выбором. За вычетом Госпремии, а это всегда случай, я тут скорее холатай, а не участник. Или вы считаете, что быть головорезом в чужих кострах с шашлыками — такая завидная роль?

Борис Слудский мне давно сказал одну

вещь, которую я люблю повторять: “История поэзии XX века — история поэтические бань”. Как все начиналось с символизма, акмеизма, футуризма, так и пошло дальше. Культура всегда двигалась группами людей. С флагами или без — не имеет значения.

— Но группы, о которых вы говорите, олицетворяли собой определенное направление, школу, стиль. Нынешний же литературный пейзаж скуден и угрюм — сплошная тусовка.

— Вы называете это тусовкой, я — комплотом групп и борьбой поколений, а они были всегда. Молодые акмеисты выступили против старших символистов. А им в свою очередь наступали на пятки агрессивные футуристы. И так далее. Сейчас мы свидетели, если можно так выразиться, общей прагматизации процесса. Новое поколение из нашей совместной истории сделало нормальный вывод, почти буквально вывернув идею Н.Федорова на себя: “мы закопаем старших”. Что ж, им не откажешь по крайней мере в остроумии. Как и в небрежливости. А в остальном — нормальная, повторяю, литературная борьба, даже ненависть, и началась она, увы, очень давно. Помните, умирает Тургенев, а Гончаров говорит: “Прикидывается”? Или еще раньше: “темным, неразвившимся” называет Гоголь Баратынского в одной из лучших своих статей, написанной через пару лет после смерти поэта, видимо, в отместку за его старое высказывание об отсутст-



вии “басовых регистров” у Пушкина. Антагонизм будет всегда, пока существует искусство.

— Только грядущ у той ненависти или у того антагонизма был другим.

— Ну, градусов всегда хватало. В этом веке уже и не борьба, а война на истребление. Полистайте журналы 20 — 30-х годов, посмотрите отзывы “экспертов” из архивов КГБ — это же сводки с фронта боевых действий. Так что речь нуно вести не о самой литературной борьбе, а о цивилизованных нравах. В здоровой культурной среде все находят свое место. Единственное, на чем я настаиваю, так это на очень банальной вещи: иерархия ценностей существует объективно. А по поводу переходящей моды могу лишь процитировать Маршак: “Ты старомодем — вот расплата за то, что модным был когда-то”. Все проходит, а эстетический счет остается. И никто мне не докажет, что он отменен. Вот сейчас в обилии появились переводы из древних греков и римлян, и снова ловишь себя на мысли: мы такая поздняя ветка, поздняя, мощная, усыхающая, снова пускающая ростки. А кто лишнее этого чувства, ему легко, он — гений своей тусовки. И потом, возвращаясь к нашему разговору: у каждого поколения — свои авторитеты.

— А как складывались ваши отношения с поколением шестидесятников, вы ведь откуда родом?

— Этот вопрос уже как бы неприличен, но тем не менее я отвечу. Я вообще не считаю себя шестидесятником. Это совсем другое умяоствование, и я к нему не имею отношения. Я тогда, да и позже, ни о каком поколении и думать не думал. Ну, может быть, в единственной заказной статье, но это была проба пера, не более. Ведь во времена моей молодости — конец пятидесятых — начало шестидесятых — еще были живы великие поэты. Я помню, как читал стихи Заболоцкий в восьмой комнате на втором этаже старого здания Дома литераторов. Помню приколотый листок-сообщение над билетным окошечком Киевского вокзала о похоронах Пастернака, наплыв народа на переделкинском кладбище. А толпы ломились с конной милицией в Лужники совсем на другие вечера. И я не уверен, что если бы тогда хорошо издали Ахматову, то на ее вечер, будь он объявлен, также стремились бы все попасть.

Когда я учился в педагогическом институте, мне иногда наш пожилой доктор давал отгулы. И как-то он мне посоветовал: “Прочтите Иннокентия Анненского”. А мне тогда нравились Павел Васильев и Борис Корнилов, и я еще подумал: какой же он старомодный. До всего нужно было доходить самому, своим умом. Мне повезло, что мои друзья были в основном старше меня, опытней, и я многим обязан им своей невовлеченностью в сугубо поколенческие отношения. То есть меня интересовала духовная вертикаль.

— В середине шестидесятых, когда ваши сверстники антигитовали в Лужниках, вы написали, выражаясь соцреалистическим языком, программное стихотворение “Пасха на Клязьме”, где есть такие строки: “Но я, созная предел, привел иную свободу, куда по крестному ходу шел в ночь и на свечи глядел”. Похоже, вы уже тогда понимали тщетность отшельных попыток облагородить режим?

— Просто у меня было совершенно другие ценности. Я к середине шестидесятых прочел наших почвенников и христ-

анских философов — почти всего Леонтьева, многое из Бердяева и Розанова, кое-что из Франка и Шестова, чуть позже Федотова, ну то, что мог достать, так что иллюзий не было. Кроме того, я ведь и мальчишкой многое видел и понимал, может быть, не отдавая себе в этом отчета, а в пятьдесят шестом, сразу после венгерских событий, словно прозрел. Да и как было не понять: за хлопотобумажный початок, вынесенный с фабрики, давали 12 — 18 лет, и когда ребят с нашей улицы посадили за то, что они “обчистили” палатку перед октябрьскими, взяли несколько бутылок пива и плавленых сырков, каждый из них получил от 18 до 20 лет, а им самим было едва по 18. Цинизм чудовищный! Когда стали возвращаться из лагерей, о чем нам талдычили в институте? О ленинских нормах жизни. Ладно бы ничего не знали. Все знали, все ведали, в том-то и дело. Просто сила солону ломит, а жить без самоуважения может не каждый. А показательные суды над сектантами и сносы церквей, в которых Хрущев пресупел личуть не меньше Сталина. С детских лет для меня государство — человек с винтовкой, институт насилия, армия и КГБ. Причем армии я боялся больше, чем КГБ. И оказался прав. В КГБ хотя бы дисциплина, армия же — полный беспредел.

Поэтому генеральная идея шестидесятников — очеловечить этот режим — была мне изначально чужда: нельзя же очеловечить людоеда. И даже “пражская весна” меня не всколыхнула. В апреле шестидесят восьмого я написал стихотворение “Республика парада”, понимая, что танки в Прагу войдут. А десятью годами раньше — “Ташкентскую бойню”. И тем не менее, на мой взгляд, шестидесятников если и есть в чем упрекнуть, то разве что в исторической близорукости. Сейчас же на них хотят списать все накопившиеся грехи. На кого-то же нужно их списать, а крайне — шестидесятники. Тем более что многие из них стали видными деятелями, в том числе и во властях. Да и в целом они реализовались.

— Ваша позиция НЕУЧАСТИЯ была заявлена давно и ясно: “Прости мне, родная страна, за то, что ты так ненавистна. Прости мне, родная чужбина, за то, что прикушен язык”. И дальше “Покуда подлы времена, я такой поперечник, отчужден. И все же — прости, если мимо пройду, приподая воротник”. Времена переменялись, намерены ли вы опустить воротник?

— Переменались, говорите? Да, возможно. Но для людей тягот не поубавилось. Вот два академика в “Известиях”, рассуждая о крахе фундаментальной науки, дали, на мой взгляд, четкую характеристику дня сегодняшнего: зачем сажать и выращивать яблоно, когда главная работа — где бы украсть яблоки.

Мне, скажем, сейчас, несмотря на измотанность, жить легче. Нет проблемы издать книгу, хоть и за свой счет. У меня теперь действительно есть возможность реализовать свою необходимость. Только многое зависит от внутреннего ощущения себя, своей значимости. А у меня уже нет куража. Амортизаторы сели. Помню, как я студентом переписывал от Рубка Цветаева, Мандельштама, бегал по Москве в поисках нужных книг... Теперь, ничего этого нет. Точнее, все это тиражировано, прочитано, но то ли не усвоено, то ли не пошло впрок. Живем-то мы сейчас больше внешними страстями, неустойчивыми, драмами, войной, а не внутренней жизнью, не духовным созерцанием. Сейчас я более чем когда-либо недоволен собой — я перестал быть эгоистом. Для художника убийственно обобщать себя, своей значимости. А у меня выбор был более прям. Либо совершить поступок, либо отступить от себя. Либо сидеть в президиуме, либо на нарах. Я не хотел ни того, ни другого. Терпеть не могу людей, полмешки умятвенную деятельность политической возбудимостью. А теперь, мне кажется, выбор более сложен, главное, реален. Как путь от античной драмы — к Чехову. И от Чехова — снова к Софоклу.

— Поскольку вы несколько раз на протяжении нашей беседы упоминали о том, что общее вас занимает сейчас больше своего, частного, то мой долг задать вопрос об “общем”. Сегодня редкий печатный текст (отметьте в том числе и вы) обходится без призывов к духовному, нравственному очищению, к возрождению национального самосознания. А я все думаю: что же это у нас самосознание такое хилое? Ведь семидесят лет для вечности и истории — всего лишь миг. Как же так получилось, что миг перетянул тысячелетие развития православной Руси?

— Я не историк, и все происходящее для меня не предмет академических исследований, а жизнь. Именно глубокомыслие делает нас идиотами. Кстати, я ни в одном своем тексте не упоминал слово “духовность”, кроме как иронически. И не может нормальный человек, если подумает, его написать, оно что-то должно значить. Вот писатель пишет книгу — это духовность? Нет, его работа. Может быть, и духовная. Или женщины ткнут ковер — духовность? Я видел недавно афганский ковер. После войны исчез сложный цвет, остался только черно-красный, и в декоративном рисунке по всему полю видны изображения танков, пушек, автоматов, вертолетов вокруг разрушенной мечети и двух молящихся мулл со скрещен-

ными кинжалами. Это меня потрясло. Вот что такое самосознание у людей, которые не могут ничего поделать со своей скорбью. А что такое нравственность и духовность вообще, я не знаю. Возможно, старинная русская болезнь, как запой и пьянство. Я думал одно время, что нас немцы этим заразили. А потом понял: нет, это свое, доморощенное. Страсть к общим темам. Все эти рассусоливания о духовности и возрождении похожи на ламентации бывшего Верховного Совета по поводу консенсуса. Чем они кончились, известно...

— Вы не так давно утверждали: наш теперешний кошмар — расплата за тысячелетнюю национальную гордыню. Но ведь и сегодня призрак Третьего Рима не дает большей части населения спать спокойно. Сколько же лет нам еще придется расплачиваться?

— Без малого десять лет Афгана, десять лет перестройки, теперь что же — десять лет Чечни? Мне кажется, население наше бесконечно устало и хотело бы только одного: пожить спокойно, почеловечески. А грезы о Третьем Риме — выдумки идеологов. Если же это не так, значит, еще будем платить. Значит, Бог нас мало карает. Может быть, как популяция мы и вовсе исчезнем, как какой-нибудь заблудный тигр, у которого клыки были слишком велики и не приспособлены для мелкой живности. Это аналогия любит приводить покойный Иосиф Самуилович Шкловский, наш астроном, и я с ним согласен. Вон в маленькой Голландии виднись, проезжая — везде красивые черепичные крыши и поля со сладкой горчицей. А у нас от Балтики до Тихого океана то там, то здесь лунный пейзаж — все землю никак не можем поделить. Меня тошнит от подобных разговоров. Говорить можно, на мой взгляд, лишь о колоссальной драме, которая с нами приключилась. Единственный Царь-освободитель, давший землю крестьянам, убит и не довел дела до конца. Столыпин, стольные излюбленный патриотами, — тоже полдела, тоже убит. Короткое царствование Александра III, не развивавшее узлов, а скорее, затормозившее реформы, типологически сравнимо с долгим брежневским, проедавшим российские недра и будущее. О сегодняшнем уж и не говорю: не реформы, а скоро десятилетний юбилей разговоров о них. И что же мы видим в конце концов? Рождественскую закладку Храма Христа Спасителя в дни Иродова кровопролития.

В 86-м году мне позвонил один инвалид, прислал о встрече. Оказалось, он пишет стихи. Мальчишкой попал в лагерь как турецкий шпион, дважды участвовал в лагерных восстаниях — в 53-м под Норильском и в Джезказгане, все хрущевское время просидел за колончей проволок, освободившись, поступил в Политтехинический институт, на последнем курсе попал в аварию. нас разделяло всего несколько лет, но передо мной стоял старик: совершенно седой, с кулытьями рук, с умными глазами. Прощаясь, он мне сказал: вы знаете, нас семидесят лет глады раскаленных уютом, чтобы мы лежали ровненько, а потом спохватились: извините, ошибка вышла, надо было глады в другую сторону. А для того, чтобы все улеглось в нужную сторону, надо глады еще семидесят лет, не меньше. А через пять лет все дыбом встанет... Я часто вспоминаю его слова.

У нас три четверти населения работало на ВПК, то есть на индустрию смерти. Что ж, мы думали, что это же хозяйство обрушится на чужие головы? Так не бывает. Мы изготовили оружие, и оно ударило по нам.

У нас отсутствует воля, чувство самоуважения, мы очень жественны. Государственники вспомнили о православии, инакомыслящие сделались икономыслящими и взяли в правую руку святы. Как пику святой Георгий. Да будьте вы хоть римлянами, хоть стоиками, мне неважно кем, но пусть у вас будет элементарное достоинство. И будьте самураями, сделайте характери, если потерпели поражение. Никто этого не делает.

Бес нас попутал, вот мы и соблазнились старцем Филофем (недавно об этом поведаль Д.Лихачев), устроили ГУЛАГ для собственного народа. Да русский человек может за бутылку водки сотворить что угодно. Душа у него горит.

— Так вы, собственно, куда клоните?

— Никуда не клоню. Я не считаю, что нужно кому-то исторически мстить. Но осудить античеловеческую доктрину гражданским образом было просто необходимо.

Вы обратили внимание: нас снова стали кормить, как и прежде, будущим. Мне никогда не хотелось уехать из страны, а теперь... Будь помоложе, махнул бы на все рукой. Да, жить в России стыдно, без нее невозможно. Вот и остается с перепомо (исторического) бредить. Третим Римом. Под лагзанные гусеницы.

— Неужели все так безнадежно и нет никакого просвета?

— Почему же? Иногда выйдешь утром на улицу, ночью снег пошел от мороза перехватывает дыхание. Строка толкнется. А стихотворение, говорил Фрост, это как любовь: начинается восторгом, кончается мудростью. Я, во всяком случае, надеюсь на это.

229